Вихрь

Автор:
Влас Дорошевич

Вихрь

Влас Михайлович Дорошевич

«Пётр Петрович чувствовал себя отвратительно.

Сегодня утром, за чаем, жена обратилась к нему с вопросом, который раздаётся теперь в каждом русском доме, в каждой русской семье, везде, где встретятся двое русских людей:

– Чем же всё это кончится?…»

Влас Михайлович Дорошевич

Вихрь

(Вчерашняя трагедия)

I

Пётр Петрович чувствовал себя отвратительно.

Сегодня утром, за чаем, жена обратилась к нему с вопросом, который раздаётся теперь в каждом русском доме, в каждой русской семье, везде, где встретятся двое русских людей:

– Чем же всё это кончится?

Пётр Петрович вышел из себя.

– А чёрт его знает, чем это кончится. Что я, пророк, что ли? – крикнул он.

Да ещё при детях.

Это было дико, «по-хамски».

Вставая из-за стола, Пётр Петрович поцеловал. Анне Ивановне руку несколько раз и пожал, словно прося прощения за безобразную выходку.

Но Анна Ивановна не сердилась.

Она посмотрела на мужа с глубоким сожалением.

И от этого сожаления Петра Петровича дёрнуло.

Бывали минуты.

Казалось, придётся бросить всё и эмигрировать за границу.

На сколько времени? Быть может, совсем, навсегда.

Но и тогда Анна Ивановна смотрела на мужа с верой.

Теперь с сожалением…

«Так сестра милосердия смотрит на тяжелораненого, про которого она знает, что ему умереть».

Пётр Петрович чувствовал себя отвратительно.

Теперь он шёл к жене поболтать, загладить утреннюю сцену.

Но из соседней комнаты услыхал голоса и остановился.

Ему не хотелось видеть посторонних. Не хотелось видеть никого.

Раздавался голос Анны Ивановны.

Она говорила нараспев, жалуясь, с глубоким страданием, то же, что говорят теперь в каждом доме, в каждой семье, везде, где соберётся хоть двое русских:

– Что ж это такое делается? Что делается?

Раздался голос Марьи Васильевны.

Она говорила тоже нараспев и жалуясь.

Все говорили нараспев и жалуясь!

«Так говорят только после катастрофы. Когда всё сгорело или умер близкий человек!» с отчаянием подумал Пётр Петрович.

– Не знаешь, куда деться. В деревне мужики, в городе какие-то чёрные сотни! – жаловалась Марья Васильевна.

– Газеты возьмёшь, ещё страшней! – запел и зажаловался третий женский голос. – Совсем война! Убит… убит… ранен… взрывом бомбы… два залпа… пять залпов… при помощи холодного оружия… действиями кавалерии… заключено перемирие… Ратификация мирного договора между татарами и армянами… Прямо с театра военных действий!

– Всё поднялось, взбаламутилось, – заговорил четвёртый женский голос, – муж говорит: «Не жизнь, а афиша какой-то феерии, в которой ничего не поймёшь: народ, казаки, студенты, гимназисты, рабочие, татары, армяне, телохранители и прочие».

Разговор, как всякий русский разговор, и тяжёлый и лёгкий, начинал, видимо, сбиваться на остроумие.

– Это, знаете, совсем напоминает бутылку квасу! – раздался вдруг молодой и весёлый голос чиновника особых поручений Стефанова.

Пётр Петрович даже с кресла поднялся, на которое было присел.

«Этот ещё зачем у нас?!»

Всё ему было противно в этом юноше.

И фамилия.

Степанов, который переименовал себя в «Стефанова».

– C'est plus noble! Лучше звучит.

И всегда радостный, весёлый голос, что бы в губернии ни делалось.

В уезде «бунт». Двинулись войска. Губернатор едет:

– На этот раз показать действительно, что такое власть!

Всё кругом в ужасе пригнулось, сжалось.

А «Стефанов» едет за губернатором и говорит тем же радостным и весёлым голосом.

И до мерзости приличная фигура этого искательного юноши.

И тайная, робкая страсть, которою он считает обязанностью службы сгорать к губернаторской дочке.

Всё.

Всё противно, всё отвратительно.

Пётр Петрович чувствовал оскорбление, что Стефанов появился в его доме.

– Стефанов в доме Кудрявцева!

Это звучало дико.

Это заставляло Петра Петровича дрожать от обиды, от омерзения.

Всё, что он ненавидел, соединилось в эту минуту в этом «мальчишке».

«Как его приняли? Как ему, ему в голову могло прийти явиться к нам?! До чего же, до чего же я дошёл?!»

Стефанов говорил своим молодым, весёлым, радостным голосом.

Повторял, вероятно, в пятидесятый раз «удачное» сравнение, в новом успехе которого заранее был уверен.

– Это совсем похоже на бутылку квасу, в которую пустили изюмину. Всё заходило, зашипело, закипело, изюмина запрыгала, откуда-то пошли какие-то белые хлопья…

Пётр Петрович, на помня себя, дрожа, боясь, что сейчас раздастся смех, шагнул к двери.

Войти.

«Я не позволю в моём доме сравнивать мою родину с какой-то дрянной бутылкой квасу. Как вы смеете, мальчишка, ругаться над родиной и шутить в эти минуты? Подшучивать над родной матерью в то время, как она, израненная насмерть, истекает кровью. Как ты смел делать это в моём доме? Вон, мерзавец!»

Пётр Петрович уже взялся за портьеру чтобы отдёрнуть.

Но остановился.

«Сделать скандал с мальчишкой! Только этого ещё мне недоставало!»

Что же случилось? Как могло это случиться?

II

Он, Кудрявцев.

– Ваше имя – знамя! – сказал, весь дрожа от волнения, на одном из банкетов какой-то земский врач, которого он никогда не знал и не видывал раньше.

И эти слова были покрыты громом аплодисментов.

Всё собрание, полторы тысячи человек, поднялось и стоя аплодировало Петру Петровичу.

Аплодировало десять минут.

Стоял сплошной, неумолчный треск.

Словно что-то рушилось. Словно трещали и ломались какие-то заборы и преграды.

Пётр Петрович стоял, опустив голову, словно выслушивая приговор, обязываясь подчиниться ему.

Стоял не кланяясь, задыхаясь от поднимавшихся слёз.

Повторяя всей восторженной, взволнованной, в какую-то недосягаемую, святую высь вознёсшейся душой «Ганнибалову клятву»:

– Умереть, но не опустить знамени. Ни на вершок. Ни на четверть вершка. Чтоб никому, никому не показалось, что знамя поколебалось. Чтоб не раздалось крика ужаса одних, крика радости других.

Его душа «принимала святое крещение в вожди».

Так он определил, потом в своих записках то, что пережил в эти минуты.

«Гражданин» звал его не иначе, как Равашолем.

Губернатор…

Губернатор человек военный, говорил, что:

– Если б в Версале был дельный полицмейстер, никакой бы и революции во Франции не было. И Мирабо бы не пикнул.

Губернатор звал его «Мирабо».

И говорил о нём не иначе, как приходя в сильнейшее волнение и сжимая кулак, как «дельный полицмейстер»:

– Этот Мирабо у меня-с. Это слава Богу, что у меня-с. Я вот его где держу. И посматриваю: тут ли? Да-с! Это – Мирабо!

Кажется, губернатор даже гордился, что именно у него «проживает» Мирабо. Как гордится участковый пристав, что у него в участке живёт миллионер.

«Кудрявцев» – это стало именем нарицательным.

«Кудрявцевых у нас мало», писали одни газеты, когда решались рискнуть упомянуть его имя, вопреки циркулярам.

«Кудрявцевых развелось слишком много», писали другие газеты невозбранно, во всякое время.

А «Московские Ведомости»…

Однажды, в одну из самых трудных минут, Пётр Петрович с весёлым, громким смехом вошёл к Анне Ивановне с «Московскими Ведомостями».

– Аня! Новость!

В то время в доме не одного Петра Петровича разучились смеяться.

Анна Ивановна смотрела на смеющегося мужа с удивлением.

– Грингмут советует меня повесить!

У Анны Ивановны мороз пробежал по коже:

– И ты можешь этому смеяться?

– А что же?

– Советы позволяют давать только те, которым в душе хотелось бы последовать.

– Бог не выдаст – Грингмут не съест!

И он вырезал рабочими ножницами Анны Ивановны статью «Московских Ведомостей», чтобы наклеить её, как документ, в ту книгу, которую он вёл и которая называлась:

«Свидетелем чему Господь меня поставил».

На первой странице этой книги было написано в виде предисловия:

«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом показать перед будущим историком всё, что мне известно по этому делу, одну сущую правду, ничего не утаивая, не оправдывая виновного, не обвиняя невинного, не увлекаясь ни дружбой ни родством, ниже страхом, в чём мне Господь правды да поможет».

В эту книгу он ежедневно писал всё, «чему свидетелем Господь его поставил».

Он начал вести её с тех самых пор, как только-только начало начинаться «всё это», и совесть, выпрямившись во весь рост, сказала властно и повелительно душе его:

– Иди!

И он вёл свою книгу, свою летопись священно, религиозно, с благоговением, почти трепетом.

Даже смешное записывая и занося точно с благоговением:

– Каждый кирпич тут священный, из него кладётся храм: история.

Ещё в то время, когда на Руси царила «общественная тишина и спокойствие», было тихо-тихо, как бывает перед бурей, а дрожавшему от безысходного отчаяния сердцу с ужасом казалось, что тихо и темно, как ночью на кладбище, – речи Петра Петровича о попранных священнейших человеческих правах прокатывались по Руси от края и до края и среди беспросветного мрака сияли, как зарницы отдалённой, но уже идущей грозы.

Газеты торопились их воспроизвести, трепеща: вот-вот получится циркуляр:

– На основании статьи… воспрещается… перепечатка… обсуждение…

Цензура была строга к самому его имени.

Однажды к нему явился незнакомый ему человек, фельетонист местной газеты:

– Пётр Петрович, что же это такое? До чего ж это дошло.

Фельетонист начал свою статью:

«Настала весна. Всё закудрявилось. Кудрявые стояли берёзки. Кудрявые плыли по синему небу лёгкие белые облачка. Куда ни глянь кругом, – всё в кудрях, всё кудрявое. И весёлые, как дети с голубыми глазами и кудрявыми льняными волосёнками, кудрявые мысли наполняют даже самую облыселую, на обточенный бильярдный шар похожую, голову».

Цензор вызвал к себе редактора по телефону поздно вечером:

– Немедленно!

Гранка была перечёркнута шесть раз.

Цензор кричал. И в его крике слышалась даже истерика:

– Я вам сказал, чтобы без аллегорий?! Я вам сказал?! Опять иносказательная литература в ход?! Подвести меня хотите?! Подвести?!

– Когда? Где?

– А это-с? А это-с?

Цензор комкал несчастную гранку, словно гадину, которая хотела его смертельно ужалить, но которую он поймал и убил и которая теперь безвредна.

– А это-с? Я сказал, чтоб никакой «весны» не было!

– Да ведь в апреле!

– Хоть бы в июле-с! По мнению вашего г. Васильчикова, – я знаю, кто пишет под именем «Юса Малого», – по мнению вашего г. Васильчикова, я дурак? Дурак? Да? «Всё закудрявилось?» А? «Закудрявилось?» Так скажите ему, что, слава Богу, не всё ещё «закудрявилось». Есть ещё, слава Тебе Господи, головы и лысые и не лысые, у которых никаких «кудрявцевских» или, как он – скажите, какая тонкость! – изволит называть, «кудрявых» мыслей нету-с! А если у него «кудрявые» мысли, так пусть он для своих литературных прогулок подальше ищет закоулок. Поняли-с? Слышали-с?

– Прежде всего, позвольте! Зачем вы кричите?

– Ах, вам тон моего голоса не нравится? Вот как-с! Да-с? Меня хотят куска хлеба лишить. На меня покушаются. Да-с! Покушаются-с! А я должен в ноги кланяться?! Отлично-с! Так вот что-с! Объявляю вам прямо-с! Категорически-с!

Чтоб в вашей газете г. Васильчикова больше не было! Ни под «Юсом» ни под каким другим псевдонимом! Чтоб ноги его, чтоб духом его в редакции не пахло. Это мой приказ! Приказ! Понимаете, господин тонкого обращения? Приказ! Если же у вас г. Васильчиков будет хоть в качестве корректора, – я вам все статьи зачёркивать буду. Все! До одной!

– Но закон…

– Закон гласит: «Цензор, допустивший…» Вы меня, батенька, законами не пугайте! Законам меня не учить! Слышали? Не сметь учить меня законам! Не беспокойтесь!

И цензор перед самым носом редактора погрозил пальцем:

– Не беспокойтесь! Если я перечеркну что-нибудь… и даже зачеркну, чего зачёркивать не следовало… мне ничего не будет. А если не дочеркну, меня со службы вон-с! Поняли! Так уж лучше я перечеркну-с, чем не дочеркну. Можете идти!

– Однако…

– Убирайтесь!

Когда прошёл слух…

Известие это появилось в иностранных газетах, где фамилию Кудрявцева безбожно перепутывали: во французских газетах называли то Кудринцев, то Кудряшев, в немецких больше Кудряшкевич, в английских – Кудряшинский… Хоть и под исковерканным именем, как всех русских деятелей, – Кудрявцева знала Европа.

Когда прошёл слух, что Кудрявцева арестовали, – в университетах начались волнения. И Пётр Петрович должен был напечатать в одной из газет, наиболее читаемых молодёжью, какое-то письмо с благодарностью кому-то, за что-то, чтоб подать голос любящему и знающему его русскому обществу, что он жив, здрав и невредим.

В письме самое важное было за подписью:

«Город такой-то».

И русское общество, наученное, как никакое другое, особым образом читать газеты, поняло, что хочет сказать ему любимый и уважаемый общественный деятель.

И вздох облегчения вырвался из сотен и сотен, из тысячей грудей:

– Невредим!

Словно с театра военных действий весточка!

Уже несколько лет, как в доме Петра Петровича отдан приказ раз навсегда.

– Какие бы телеграммы ночью ни приходили, не будить.

Утром почти каждый день, – иногда по несколько сразу, – Пётр Петрович читал, распечатывая:

– Собравшись… пьём… поднимаем бокал…

Из столиц, из губернских городов, со съездов, с годовщин, от корпораций, от частных людей, часто из таких трущоб, какие Бог их знает, где и находятся.

Пётр Петрович говорил с улыбкой на это вечное «пьём»:

– Пора бы и перестать.

Он замечал:

– Охота деньги тратить!

Но…

Теперь, когда он перестал получать телеграммы, когда они оборвались сразу, как по команде, он как-то с грустной улыбкой сказал Анне Ивановне:

– Телеграммы… Популярность – это как папиросы. Когда куришь, в сущности, никакого удовольствия не испытываешь. Не замечаешь даже. А как папирос нет, – чувствуешь ужасное лишение.

Если б не эта популярность…

Петра Петровича вызывали для внушения в Петербург.

Он должен был явиться к самому высокопревосходительству!

К самому крутому из высокопревосходительств.

– Вы позволяете себе… – начал, едва показавшись в дверях, его высокопревосходительство.

У Петра Петровича бросилась кровь в голову.

Ему представилась собственная фигура, которую он только что мельком видел в зеркале, проходя через переднюю.

Высокий, полный, представительный человек, с большою чёрной бородой, с сильной проседью, с благородным выражением лица.

И вот на него большого, полного человека, с большою поседевшей бородой, с благородным лицом, – кричат как на мальчишку.

Пётр Петрович употребил все усилия, чтоб сдержаться. Не потому, чтоб он боялся сказать лишнее слово, а для того, чтоб в спокойном состоянии ответить как можно обдуманнее и чтоб ответ был как можно сильнее.

Вдвоём, с глаза на глаз, он говорил, как будто их слушала вся Россия.

– Прежде всего, я позволю себе, – спокойным, ровным и благовоспитанным голосом прервал он его высокопревосходительство, – прежде всего, сказать вашему высокопревосходительству: здравствуйте. А во-вторых, позволю себе сказать вашему высокопревосходительству, что вам ложно донесли на меня.

– Как?!

– Да. Я не глухой. И со мной вовсе не нужно трудиться кричать.

Он сказал это спокойно, ровно, даже мягко, самым звукам голоса давая урок благовоспитанности.

Его высокопревосходительство потерял фразу, которой он приготовился начать.

Он отступил, окидывая Петра Петровича уничтожающим взглядом, который действовал всегда:

– Вы, г. Кудрявцев…

– Меня, ваше высокопревосходительство, зовут Петром Петровичем, – так же спокойно, ровно и мягко перебил Кудрявцев, – или, если вам угодно официально, то я имею право, чтоб меня называли «ваше превосходительство».

Его высокопревосходительство был окончательно выбит из тона. Он рассердился. Это было уж тоном ниже: он должен был гневаться, а не сердиться. Он приготовился быть гневен и страшен, а не сердит.

Он разразился монологом, в котором выходил из себя всё сильнее и сильнее, чувствуя, угадывая, замечая под густыми усами Петра Петровича улыбку.

И закончил монолог фразой, звучавшей совсем уж тривиально и не шедшей ни к месту ни к лицу:

– Мы с вами не церемонимся!!!

– Я и не прошу церемониться со мной, – спокойно ответил Пётр Петрович: – это вопрос воспитания. Но приходится поневоле церемониться с законом.

– С законом! – уже совсем крикнул его высокопревосходительство.

Пётр Петрович улыбнулся уже открытой улыбкой, во всё лицо:

– Это, говорят, ваше высокопревосходительство, на Сахалине тюремные смотрители выходят из себя, когда каторжник скажет им слово: «закон». Но здесь, ваше высокопревосходительство, ещё не Сахалин. Я не каторжник. Да и вы, ваше высокопревосходительство, не тюремный смотритель. «Закон», – здесь слово, которое я прошу слушать с таким ж благоговением, с каким я его произношу!

С лица Петра Петровича исчезла улыбка.

Игра, которая его забавляла, кончилась. Он заговорил.

С изумлением слушал его высокопревосходительство слова, которые никогда не раздавались в приёмной.

И, наконец, окончательно раздражённый, что всё не удалось, что говорят ему, а не он говорит, – решил сразу оборвать Петра Петровича.

Но Пётр Петрович понял готовящийся манёвр и предупредил:

– Вот всё, что я хотел сказать вашему высокопревосходительству! – сказал он с лёгким поклоном.

Это окончательно вывело его высокопревосходительство из себя.

– Хорошо-с! – сказал он, круто повернувшись на каблуках и пошёл.

Петру Петровичу захотелось пошутить.

– Ваше высокопревосходительство, позвольте добавить ещё… – просящим тоном сказал он.

Его высокопревосходительство при просительном тоне машинально приостановился.

– Что ещё?

– До свиданья!

В ответ был такой взгляд…

– Прощайте-с!

И слышно было, как хлопнула дверь даже в другой соседней комнате.

– Я никогда не видал, чтоб человек был так великолепно взбешён! – со смехом рассказывал приятелям в номере гостиницы Пётр Петрович. – Совсем бенгальский тигр!

– А результат? – спрашивали приятели.

Результат, – на какую бы должность ни избирали Петра Петровича, – раз должность требовала утверждения, его не утверждали.

– Мирабо неподвижен. Ни шагу! Ни взад ни вперёд! – торжествуя говорил губернатор.

А Пётр Петрович говорил в сознании своей силы:

– Обречённый на ничегонеделанье, я делаю больше. Если я, – я! – ничего не могу делать, это говорит сильнее всяких дел и слов. Это ясно и понятно каждому, как иллюстрация. Это производит гораздо сильнее впечатление. Передайте, что после каждого неутверждения я получаю в десять раз больше телеграмм! – просил он, чтоб позлить губернатора.

И вот теперь, в его гостиной, в доме Кудрявцева, сидит чиновник особых поручений Стефанов и чувствует себя, как у своих, как дома и сравнивает, у Кудрявцева в доме, сравнивает Россию с какой-то бутылкой кваса.

Что же случилось? Как это случилось?

III

– Задуло! Начинается бурно! – заметил кто-то из собравшихся на совещание.

В огромной передней старого барского дома шумели.

– Прежде всего, господа, почему нас держат в передней? – обратился к толпе истерический голос.

– Да-с! – и перед хозяином дома вырос здоровенный техник, широкогрудый, в синей рубашке под расстёгнутой тужуркой. – Перед вами интеллигентные люди, представители общества, учащаяся молодёжь, сознательные рабочие, представитель печати, дамы, наконец. Вы можете разговаривать в передней с просителями на бедность. Да-с! Мы явились не за подачкою. Да-с! Мы явились требовать того, что нам принадлежит по праву. Да-с!

– Совершенно верно! – раздалось несколько голосов.

– Совершенно верно! Верно! Верно! Совершенно! – закричала вся толпа.

– Ваше поведение, г. Семенчуков…

Семенчуков, хозяин дома, смешался:

– Извините, господа… Я к вам вышел… Прошу вас в гостиную. Но я должен предупредить, что это… это не согласие на ваше присутствие в собрании. Это для переговоров. Собрание, повторяю вам, предварительное, частное. Я решительно не понимаю, при чём здесь посторонняя публика, дамы…

– Разве собираются рассказывать неприличные анекдоты, что дамам нельзя присутствовать? Да? – воскликнул репортёр.

В публике засмеялись.

– Это частное совещание, повторяю вам, – продолжал хозяин дома, – земских деятелей, городских, приглашённых лиц.

– Вопрос о Государственной Думе не может быть делом частным! Это не вопрос об именинном пироге. Дело общественное! – прокричал из толпы безапелляционный голос.

– Опять канцелярия! И тут тайна! – раздался даже с отчаянием грубый голос, вероятно, рабочего. – Чем же это лучше?..

– Вы начинаете требовать свободы слова, печати, собраний с того, что воспрещаете гласность! Очень хорошо! – зазвенел опять голос репортёра.

– Это ваш первый экзамен! – крикнул женский голос.

– Вы срезались!

– Ловко! Недурно! Очень хорошо, господа!..

– Господа! Он нас ставит виновниками! Он нас ставит пред общественным мнением… – бегал среди собравшихся на совещание Семён Семёнович Мамонов, бывший предводитель. – Он ставит наш бланк на своём запрещении. Согласитесь, что это…

– Перепугался? – улыбнулся Пётр Петрович Кудрявцев.

– Я всегда привык уважать общественное мнение, – огрызнулся Мамонов. – Я не околоточный надзиратель, чтобы держаться мнения: «Тащи и не пущай».

– Да и я, надеюсь, не околоточный. Ты просто говоришь глупости с перепугу перед незнакомым дядей: общественным мнением! – махнул рукой Пётр Петрович. – Не волнуйся. Дядя не такой сердитый: за всякий пустяк тебя в мешок не посадит.

– Господа! Но поймите! Собрание предварительное! Предварительное! – надрывался в гостиной хозяин дома.

– Довольно-с! – загремел вдруг техник в синей рубахе.

Лицо у техника пошло красными пятнами от волнения. Он весь дрожал от негодования.

– Товарищи! Прошу слова!

Всё стихло.

– Довольно-с! – гремел техник. – Мы не желаем выслушивать готовых решений в ваших «публичных собраниях». Да-с! Вердиктов, которые «кассации и апелляции» не подлежат. Мы сами хотим участвовать в приготовлении наших судеб. В этом вся цель движения. Делайте общественное дело на наших глазах, под общественным контролем. Нам не надо спектаклей-с, комедий-с, разученных, срепетованных при закрытых дверях. Обсуждать дела такой важности, как отношение к этой самой Государственной Думе при закрытых дверях, – это кража у общественного контроля!

– Браво!

Гостиная огласилась аплодисментами.

– Но, господа! – Семенчуков был уж весь в поту. – Ведь это же только совещание нашей, местной, группы! И притом частное, предварительное!

– Мы желаем, чтобы местная группа отразила местные взгляды!

– Высказывайте ваши взгляды публично! При нас!

– В частном доме! Поймите же, в частном доме! – уж хрипло кричал Семенчуков. – Господа, уважайте хоть вы неприкосновенность частного жилища!

– Господа! – какой-то молодой человек выскочил вперёд и замахал руками. – Тссс… Слова! Слова!

Среди наставшей тишины он заговорил голосом, дрожащим от волнения, от негодования:

– Господа! Постановим резолюцию: г. Семенчуков ставит вопрос о том или другом отношении к Государственной Думе… о том или другом отношение со стороны общества… «своим», частным, домашним делом. И другие господа, называющие себя либералами, радикальными деятелями, вполне с ним согласны!

Раздались аплодисменты. Раздались протесты:

– Нет! Это неправильно! Так нельзя! Мы должны спросить мнения остальных!

– Предложить им сначала оставить дом г. Семенчукова, – и тогда…

Толпа двинулась в зал.

– Вы не смеете нас остановить! Мы должны объясниться! Такой вопрос!

– Господа, констатирую, – загремел голос колоссального техника, – что всякое воспрещение нам войти в зал будет мерой, носящей полицейский характер!

– Насилие!

– Дворников! – раздались насмешливые голоса.

– Остановите силой! Зовите.

Семенчуков весь в поту отступил в сторону.

IV

В то время, как в гостиной шла вся эта сцена, Мамонов, Семён Семёнович, в зале не говорил, а почти кричал, стоя поближе к дверям, чтобы слышно было в гостиной.

Пётр Петрович глядел на него с добродушной улыбкой:

– Вытянулся! Как лошадь на финише. В первые радикалы идёт! Спортсмен!

Мамонов кричал:

– Я не понимаю, господа! Почему же? Конечно, впустить! Чего бояться? Собрались на частное совещание, а выйдет нечто большее! Получится грандиозный митинг! Великолепно! Постановим резолюцию!

– Разумеется, допустить! – всё с той же добродушной улыбкой говорил Пётр Петрович, стоя в группе собравшихся, обсуждавших вопрос, сделать ли совещание неожиданно публичным или нет, – пусть займут места, аплодируют, свистят, пусть даже говорят! Если бы от меня теперь потребовали, чтоб я и обедал публично, в присутствии учащейся молодёжи, сознательных рабочих и вообще интеллигенции обоего пола, – я бы и в столовую к себе пустил эту милую молодую толпу. Пусть свищут, как я ем рябчика! Может быть, поаплодируют, что я ем борщ с кашей! Медовый месяц политических речей, резолюций. Гласности на каждом шагу. Как молодые на каждом шагу целуются. Я очень люблю, когда молодые в медовый месяц много целуются. Это хорошо!

– Не узнаю я тебя, Пётр Петрович! – сказал раздражённым тоном Мамонов. – Положительно, не узнаю сегодня. Словно тебя подменили. Как ты можешь!

– Да ты про что? – улыбаясь, обернулся к нему Пётр Петрович. – Ведь я за то, что и ты кричишь. Чтоб впустили!

– Вообще…

Семён Семёнович слышал слова Кудрявцева о спортсменстве…

– Вообще не понимаю, как ты так можешь… Вопрос поставлен слишком принципиально. Да и вообще! Вместо частного, у нас получится общественное

собрание! Мы постановим резолюцию!

– Ну, да! Ну, да! – тоном всё того же добродушия продолжал Пётр Петрович. – Вместо того, чтоб обсуждать, рассуждать, выкрикнем: «прямой, равной, тайной подачи голосов». Кто-нибудь предложит эту «резолюцию». Кто против неё? Вот и весь результат совещания! Тогда нечего советоваться! Не о чем думать, говорить, спорить! Все на этом пункте согласны! Достаточно собраться, крикнуть хором, – как солдаты кричат: «рады стараться!» – «всеобщей, прямой, тайной подачи голосов» – и разойтись. Дело сделали! И в десять минут!

– Ну, да! Ну, да! – наскакивал Семён Семёнович. – «Всеобщей, тайной, равной подачи голосов». А ты, что же, против этого? Ты против?

– Ты, мой друг, хорошему самовару подобен! – улыбаясь отступал от него Пётр Петрович. – Мы ведь тебя знаем. Ты как «поставил» себя лет двадцать тому назад, так и не прокипаешь. То ты кипел, что всё зло России в золотой валюте, и от всякого встретившегося и подвернувшегося требовал серебряной валюты. То вдруг закипел, что вся гибель России от необразования. И всех, как паром, шпарил: «России нужны школы! России нужны школы!» Так что от тебя знакомые бегать начали. Вдруг ты при них этакую Америку откроешь! Каждому человеку обидно, если ему такую вещь, как для него новость, сообщают. То вдруг про народное образование, слава Богу, забыл, но зато про тотализатор вспомнил: «Уничтожить тотализатор!» И чтобы завтра же у тебя, чтоб всё завтра до полудня было. Теперь ты «всеобщей, тайной, прямой подачи голосов» с таким же жаром требуешь, как вчера только закрытия тотализатора. Это, конечно, очень похвально с твоей стороны. Что ты такой хороший самовар! Но только зачем же ты на людей наскакиваешь? Поверь, ей Богу, не хуже тебя знаю, что Монт-Эверест – самая высокая гора в мире…

– Чимборасо! – со злостью крикнул Семён Семёнович.

– Ну, извини, Чимборасо. Но я ведь не бегаю, не брызжу слюнями, не кричу на истошный голос: «Чимборасо – самая высокая гора на свете!»

Все кругом улыбались.

Улыбался и Пётр Петрович, но почему-то – почему, он сам не знал – опасливо посматривал в сторону, где сидел новый человек из губернии – Зеленцов.

Зеленцов, человек с большой кудрявой головой, с кудрявой бородой, с пасмурным лицом, в очках, не улыбался.

Он, не отрываясь, медленно пил стакан чаю и, не отрываясь, пасмурно глядел в упор на Петра Петровича.

И от этого взгляда – он сам не понимал. почему – Петру Петровичу становилось неловко.

Его почему-то как-то волновал Зеленцов.

– Ну, да! Ну, да! Смейся! – размахивал руками Семён Семёнович.

– Да я не сержусь на тебя! – с улыбкой сказал Пётр Петрович, чтоб сгладить резкость отзыва. – Не сержусь, что ты на меня так наскакиваешь. Я знаю, что ты парень хороший, и убеждений держишься всегда самых лучших, – первый сорт убеждений! А налетаешь на меня, чуть не городовым обозвал, – просто… вихрь! В вихре ничего не разберёшь. Родного брата не отличишь!

– Нет, ты не сворачивай! – кипел Семён Семёнович. – Ну, да! Ну, да! Выкрикнем по-твоему: «Всеобщая прямая, тайная подача голосов!» Надо же знамя выкинуть! Прямо! Открыто!

Пётр Петрович сделался серьёзен, и в голосе его послышалась строгость:

– Семён, не играй знамёнами! Ты сам бывший военный!

– А это не знамя? Это не знамя?

– Я не хочу только, чтоб знамёна превращались в простые затасканные тряпки. Знамёна хранятся бережно и их не таскают «завсегда просто», как говорят в Сибири. А если ты каждому солдату дашь по знамени, чтоб он с ним вечно по улице ходил, – тогда знамени будет такая же честь, как барашковой шапке. Не больше. Понял? «Всеобщая, прямая, тайная подача голосов» – это голос общества? Да? Ну, так и голос общества, словами Пушкина, «звучать не должен попустому». «Христос воскресе» говорят на Пасхе, потому оно величественно и радостно. А если ты будешь к каждому слову пристёгивать, оно будет звучать

буднично и, в конце концов, даже пошло. Да! Пошло. Самые лучшие арии становятся величайшей пошлостью, когда их начинают играть все шарманки. «Всеобщая, тайная, прямая подача голосов» – это большие, могучие слова. Я боюсь, чтоб от беспрестанного, ни к селу ни к городу, «призывания их» они не обратились, в конце концов, в такую же ничего не обозначающую фразу, как была: «всё обстоит благополучно». Кто верил, кто обращал даже внимание, когда слышал: «Всё обстоит благополучно». Я боюсь, чтоб и эти слова не стёрлись, не обесценились, как золото от слишком большого обращения. Чтоб слыша их, уж ничьё сердце не загоралось больше ни надеждой ни страхом. «Это так! Это уж такая форма!» Чтоб они не превратились в «формальность». Я помню, был как-то в Нижнем, на ярмарке. В то время в большой моде был «марш Буланже». Никуда от него не убежишь. Везде играли. Так вот в саду каком-то пьяный купец сидит за столиком, положил голову на руки и спит. Гулянье кончилось. Оркестр какой-то финальный галоп играет. Лакей со счётом купца будит. «Проснитесь, господин, по счёту платить надоть. Музыка кончает». Купец поднял голову, обвёл кругом мутным взглядом, прислушался к музыке. «Опять про Буланже!» Положил голову на руки и заснул. Вот я и боюсь, чтоб русское общество, русский народ, услыхав от какого-нибудь съезда, от какого-нибудь собрания, как вопль души вырвавшиеся эти слова, до того уж не приобвыкло бы к этой «формальности», что не сказало бы «опять про Буланже» и не заснуло бы.

У Петра Петровича прошло всё раздражение. Он снова говорил со своей добродушной улыбкой:

– Что это, на самом деле? Ногу зашиб, – болит. Зовёшь доктора. «Вот, доктор, ногу о мостовую зашиб, что пропишете?» – «Для вашей, – говорит ноги, – многим нужна всеобщая прямая тайная подача голосов». – «Это как?» – «А очень, – говорит, – просто. Удивляюсь, как вы этого не понимаете. Вы обо что ногу зашибли? О мостовую? А мостовыми кто заведует? Дума? А может теперешнее обкорначенное городское самоуправление что-нибудь делать? Нет! А кто может поставить городское самоуправление в широкие, ему надлежащие рамки? Единственно – Государственная Дума, избранная на началах всеобщего, равного, прямого, тайного избирательного права. И выходит, что без прямой, тайной и равной подачи голосов так вам весь век и хромать!» Ну, думаешь, лечиться теперь трудно, займусь хоть делами на досуге. Дела приведу в порядок. Идёшь к адвокату. «Вот у меня тут тяжба с соседом. Из-за клочка земли. Присвоил». – «Понимаю-с, – говорит, – но, извините, ничего поделать невозможно. Тут нужна прямая, тайная и равная подача голосов! Ведь у вас спор какой? Земельный? А земельные споры из-за чего? Из-за полной неясности и спутанности земельных законов! Кто же может дать стране, стране земледельческой по преимуществу,

ясные, определённые, рациональные, вполне отвечающие запросам жизни, земельные законы, как не Государственная Дума, избранная на началах тайной, равной, прямой подачи голосов». Вот ведь до чего дошло! Околоточный на днях заходит какие-то казённые получения получать. По обычаю всех околоточных надзирателей, с «просвещённым человеком» в либеральный разговор вступает. На службу жалуется. «Трудна, – спрашиваю, – теперь ваша должность?» А он мне пресерьёзно: «Необходима, – говорит, – скажу вам, прямая, тайная и равная подача голосов!» И даже со вздохом. Как выношенную мысль! «Вам-то, – спрашиваю, – зачем?» – «Помилуйте, – говорит, – теперь все кричат: прямая, тайная, равная подача голосов. Мест для заключённых не хватает. Всё переполнено. В участок не успеваешь таскать. Дали бы им прямую, равную, тайную подачу голосов, – всё бы работы меньше было».

Кругом засмеялись.

– Может быть, всё это и очень остроумно! Может быть, с точки зрения, значит, околоточного надзирателя, это и справедливо… – раздался вдруг негромкий, но твёрдый голос.

Перед смеявшимся Кудрявцевым лицом к лицу стоял кудрявый Зеленцов и через очки смотрел в упор на него с ненавистью, с побледневшим лицом.

Зеленцов заговорил.

Все забыли даже о шуме в гостиной и столпились вокруг.

Зеленцов не был, собственно, совсем новым человеком в губернии, но он долго отсутствовал. В разговоре он беспрестанно вставлял слово «значит», – привычка, которую приобретают почему-то все люди, долгое время прожившие в Восточной Сибири.

Зеленцов начал тихо и как будто немного волнуясь, но с каждым словом голос его звучал твёрже, громче.

Это был один из тех голосов, в которых звучит что-то властное, которые невольно заставляют затихнуть и слушать.

А в упорно устремлённом в глаза Кудрявцеву взгляде Зеленцова с каждым словом всё сильнее и сильнее разгоралась ненависть и даже – вздрогнул Пётр Петрович – презрение.

– Всё это, повторяю, может быть, и очень остроумно, что вы и, значит, околоточный надзиратель изволите говорить. Но у нашей армии один пароль: «всеобщая, равная, прямая и тайная подача голосов», и один, значит лозунг: «свобода слова, печати, собраний, неприкосновенность личности». И иначе быть не может. Нет двух паролей и нет двух лозунгов. И, значит, не может быть. Мы стоим с бюрократией лицом к лицу и кричим ей наш пока боевой клич. Но мы сделаем всё, чтоб он был и победным. Нас спрашивают: «Из-за чего вы встали? Из-за чего вы поднялись?» И мы каждый раз отвечаем одно и то же. Бюрократия отступает частично, значит, отступает. – «Да вот мы посторонимся. Можно мирно. Зачем так?» Но мы наступаем грудью. Мы требуем: «Вот что нам нужно». И, значит, повторяем. Бюрократия обращается к той, к другой, к третьей нашей армии, к тому другому отряду: «Господа…» В ответ ей мощный, значит, крик: «Свобода слова, печати, собраний, неприкосновенность личности и в этих условиях всеобщая, равная, прямая, тайная подача голосов». Всякий отряд, всякая, значит, рота, всякий взвод хочет того же, чего вся армия. Никто, нигде не сдаётся. Напади хоть на одного, – он крикнет: «Свобода слова, печати, собраний, неприкосновенность личности, и в этих, только в этих, значит, условиях всеобщая, равная, прямая, тайная подача голосов!» Крик одного, – как крик всей армии. Отступления нет! Отступление есть только для противников. Вы сказали, значит: «Христос воскресе». А это наше «Верую». Это наше «Отче наш». Но читают «Отче наш» одинаково. И надо, чтоб все знали этот символ нашей веры, как «Отче наш». И повторяя, мы вырезываем в умах это. Как, значит, Моисей вырезал на скрижалях завета. Неизгладимо! Чтобы, значит, если человека разбудите сонного, – кого бы вы ни разбудили в стране, – и спросите его: «Что делать?» – Он ответил бы вам: «Свобода слова, печати, собраний, неприкосновенность личности и в этих условиях всеобщая, равная, прямая, тайная подача голосов». Как прочтёт вам, значит, среди. ночи, спросонья, ещё не придя в себя, человек «Отче наш».

– Браво! Браво! Превосходно! – прервав, крикнул Семён Семёнович Мамонов и бросился жать руки Зеленцову.

Тот почему-то отстранился.

– Браво! Верно! Хорошо! – раздалось среди слушателей, которые только что смеялись рассказу Петра Петровича.

В эту минуту в зал шумно вошла толпа из гостиной.

– Что делать господа? Как решите? – растерянный, подбежал к собравшимся на совещание хозяин дома.

– А! Не скандал же затевать! – раздражённо воскликнул Пётр Петрович, – его всего дёргало. – Пусть Семён объявит им, чтоб оставались. Это доставит ему удовольствие!

– Отлично!

И Семён Семёнович, стоя перед взволнованной толпой, вошедшей из гостиной, уж говорил:

– Совещание решило… Господа, наш любезный амфитрион, Николай Васильевич Семенчуков, не имеющий других желаний, кроме того, чтоб предоставить собравшимся работать при наиболее желательной для них обстановке… спросив их предварительно, как подобало хозяину дома… да… всецело присоединяется к выраженному собранием желанию допустить… то есть, я хочу сказать, сделать собрание публичным… Мы постановим резолюцию, но не прежде, конечно, как исчерпав вопрос и с достоинством… да… приличным поборникам свободы, выслушав все мнения за и против… Итак, господа, соблюдая все правила, которые предписывает нам оказанное нам гостеприимство, и поблагодарив за него нашего доброго хозяина, приступим к предмету совещания.

Раздались аплодисменты.

– Поздравляю! С успехом! – сказал, проходя мимо, Пётр Петрович.

Но улыбался он теперь криво и сказал это не добродушно, как всегда, а со злобой.

– Председателем, господа, – воскликнул Семён Семёнович, – мы изберём нашего же любезного хозяина! Просим!

Раздались жидкие аплодисменты.

Семенчуков конфузливо улыбался, поклонился на одну сторону, на другую. Но отпил воды, поднялся, и голос его прозвучал твёрдо и торжественно:

– Предмет совещания – отношение к Государственной Думе.

V

– Прошу слова!

Пётр Петрович решил «принять сражение» и поставить вопрос ребром.

Он начал, волнуясь.

Публика, среди которой уж разнеслось, что Зеленцов «срезал» Кудрявцева, превратилась во внимание.

– Господа! Есть три отношения к Думе: бойкот, попытка превратить её сразу в учредительное собрание, принятие на известных условиях Государственной Думы такою, какова она есть. Чтоб решить, какое отношение выбрать нам, поставим кардинальный вопрос: что такое Государственная Дума, объявленная манифестом 6-го августа? Я говорю: это – победа. Это грандиозная, это колоссальная победа! Это окончательная победа!

Публика всколыхнулась.

Кругом было удивление.

– Да. Это решительная победа! И всё, что мы получим затем, будет только контрибуцией за эту победу! Все победы, которые мы одержим потом, будут только логическим, неизбежным следствием этой главной победы. Это мой тезис.

– Блажени довольствующиеся малым! – раздался голос около Зеленцова.

Это был Плотников, маленький, чёрненький человек.

«Зеленцовский подголосок! – подумал, презрительно скользнув по нем взглядом, Кудрявцев. – Этот будет меня травить и „выгонять“, а Зеленцов брать на рогатину!»

Это сравнение себя с медведем придало силы Петру Петровичу.

Он чувствовал себя, действительно, медведем, огромным, могучим.

Кудрявцев говорил «одну из своих речей».

– Я знаю возражение. Сорок восемь тысяч избирателей из ста сорока миллионов народа – это, действительно, гора, которая родила мышь. Право советовать без уверенности, что будешь услышан, это небольшое право.

– Блажени довольствующиеся малым! – повторил Плотников.

Зеленцов обернулся к нему – словно:

– «Молчи!»

– Но, господа, допустим и это. Бюрократия пошла на уступку. На маленькую уступку. Она напоминает гимназистку, которая в диктанте не знает, поставить запятую или не поставить. Она колеблется, не решается и, наконец… ставит маленькую запятую. Нет, моя милочка! Нет ни большой ни маленькой запятой. Есть запятая. Она поставлена! И бюрократия, ставя «маленькую запятую»…

– Теперь вряд ли время рассказывать анекдоты! – зазвенел негодующий голос Плотникова.

Раздались аплодисменты.

Председатель звякнул колокольчиком.

Пётр Петрович встряхнул головой и повернулся в сторону Зеленцова с негодованием:

– Русская речь обвыкла украшаться улыбкой. «Улыбка красит лицо свободного», говорили ещё древние. Вспомните Герцена, если вам угодно: «В смехе есть нечто революционное»…

При этих словах он слегка поклонился Зеленцову.

«Смеются между собой только равные. Крепостные не смели смеяться при господах», – это сказал Герцен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/doroshevich_vlas/vihr

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить